

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44
Б87

Carol Rifka Brunt
TELL THE WOLVES I'M HOME

Copyright © 2012 by Carol Silverman
Copyright © 2013 by Random House. Inc

Перевод с английского *Татьяны Покидаевой*

Художественное оформление *Марии Коняевой*

Брант, Кэрол Рифка.

Б87 Скажи волкам, что я дома / Кэрол Рифка Брант ; [перевод с английского Т. Ю. Покидаевой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 416 с.

ISBN 978-5-04-104937-9

Есть только один человек, который по-настоящему понимает четырнадцатилетнюю Джун Элбас, и это ее дядя, знаменитый художник Финн Уэйсс. Поэтому, когда он умирает от таинственной болезни, говорить о которой в семье запрещено, мир девочки переворачивается с ног на голову. Но смерть приносит в ее жизнь и неожиданное знакомство.

Однажды, примерно через две недели после похорон, она получает посылку. Внутри нее — красивый заварочный чайник и записка с просьбой о встрече. Ей пишет Тоби, близкий друг дяди Финна, который тоскует по нему так же сильно, как и она. И Джун решает на эту встречу. Встречу, после которой уже ничего не будет как прежде.

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

© Покидаева Т., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2020

ISBN 978-5-04-104937-9

1

В тот день мы с моей сестрой Гретой позировали для портрета, который писал дядя Финн. Тогда он уже знал, что умирает. Это было уже после того, как мне стало понятно, что теперь я, когда вырасту, не перееду к нему и не буду жить с ним до конца своих дней. Уже после того, как я перестала верить, что СПИД — это просто какая-то нелепая ошибка. Когда дядя спросил в первый раз, мама сказала «нет». Сказала, что в этом есть что-то жуткое, макабрическое. Ей страшно от одной мысли, что мы с Гретой будем сидеть у него в квартире, в этой комнате с огромными окнами, где все пропитано ароматом лаванды и апельсинов, и он станет смотреть на нас так, словно видит в последний раз... нет, это невыносимо. Тем более, сказала она, от северной части Вестчестера до Манхэттена путь неблизкий. Она скрестила руки на груди, посмотрела прямо в пронзительно-синие глаза дяди Финна и сказала ему, что сейчас у нее просто нет времени.

— А у кого оно есть? — спросил он.

Вот тут она и сломалась.

Сейчас мне пятнадцать, но тогда было еще четырнадцать. Грете — шестнадцать. 1986 год, конец декабря. Последние полгода мы регулярно бывали у Финна. Раз в месяц, по воскресеньям. Всегда только троим: мама, Грета и я. Папа с нами не ездил, и правильно делал. Его это никак не касалось.

Я сидела на заднем сиденье нашего микроавтобуса. Грета — на ряд впереди. Я специально устроилась так, чтобы можно было смотреть на Грету и не бояться, что она это заметит. Наблюдать за людьми — увлекательное занятие, но тут надо быть осторожной. Нельзя, чтобы люди заметили, что ты на них смотришь. Иначе на тебя будут коситься, как на какую-нибудь преступницу. Наверное, это и правильно. Наверное, это действительно преступление, когда ты пытаешься разглядеть в людях то, что они не хотят показать посторонним. В случае с Гретой мне нравилось наблюдать, как солнечный свет отражается от ее темных блестящих волос и как у нее за ушами прячутся кончики дужек очков, похожие на две потерявшиеся слезинки.

Мама слушала КАНТРИ-FM, и хотя я не очень люблю стиль кантри, иногда — при определенном настроении — все эти песни, исполняемые с чувством и от души, наводят на мысли о большой дружной семье, о пикниках во дворе за домом, о снежных горках и ребятишках на санках, о семейных обедах в День благодарения. О чем-то правильном и здоровом. Поэтому мама и слушала кантри по дороге к Финну.

Во время этих поездок в город мы почти не разговаривали друг с другом. Мне вспоминается только плавное движение микроавтобуса, сентиментальная музыка кантри, серый Гудзон и хмурый серый Нью-Джерси. Я всю дорогу смотрела на Грету — просто чтобы не думать о Финне.

В последний раз мы приезжали в нему в ноябре, в дождливое пасмурное воскресенье. Финн всегда был худощавым — как Грета, как мама, но, увы, не как я, — однако в тот наш приезд я увидела, что он похудел еще больше, хотя, казалось бы, куда еще?! Все ремни стали ему велики, и он подпоясался изумрудно-зеленым галстуком. Я смотрела на этот галстук и пыталась представить, куда его надевали в последний раз, пыталась придумать, к какому именно случаю подо-

шла бы такая яркая, с переливчатым блеском вещь, как вдруг Финн оторвал взгляд от холста, отвел в сторону кисть и сказал:

— Уже недолго осталось.

Мы с Гретой кивнули, хотя и не поняли, что имеет в виду дядя — работу над портретом или свое состояние. Мы все знали, что он умирает. Потом, уже дома, я сказала маме, что дядя Финн был похож на сдувшийся воздушный шарик. Грета сказала, что он был похож на маленького серого мотылька, запеленатого в серую паутину. Потому что Грета красивая, и у нее все получается красивее — даже слова.

Это была предрождественская неделя, и у моста Джорджа Вашингтона мы попали в пробку. Грета обернулась ко мне. Скривила губы в улыбке и вытащила из кармана веточку омелы. Так было и в прошлое, и в позапрошлом Рождество: Грета все время таскала с собой омелу и набрасывалась с ней на людей. Носила в школу. Тренировала нас дома. Больше всего ей нравилось тихонько подкрасться к родителям со спины, потом подпрыгнуть и помахать веткой омелы у них над головами. Папа с мамой не любят выказывать нежные чувства друг к другу у всех на глазах, и Грете нравилось их смущать, заставляя поцеловаться. Там, в микроавтобусе, Грета принялась размахивать веточкой у меня перед носом.

— Вот погоди, Джун, — сказала она. — Приедем когда к дяде Финну, я помашу над тобой и над ним этой штукой, и что ты тогда будешь делать?

Улыбаясь, она ждала, что я отвечу.

Я знала, о чем она думает. Мне придется либо обидеть Финна, либо пойти на риск подхватить СПИД, и Грете хотелось увидеть, как я буду мучиться с выбором. Сестра знала, что мы с дядей Финном — большие друзья. Знала, что он водил меня по художественным галереям и учил, как размягчать лица на карандашных рисунках, просто потерев линии пальцем. Она знала, что в этой дружбе ей места нет.

Я пожала плечами.

— Он просто чмокнет меня в щечку.

Но как только я это произнесла, мне сразу представились губы Финна. В последнее время — всегда сухие, потрескавшиеся. И иногда эти трещинки кровоточили.

Грета наклонилась ко мне, положив руки на спинку сиденья.

— Да, но откуда ты знаешь, что микробы от поцелуя не проникнут к тебе в кровь через кожу? Ты уверена, что они не проходят через поры?

Этого я не знала. И мне не хотелось умирать. Не хотелось делаться тусклой и серой. Я снова пожала плечами. Грета отвернулась и села на место. Теперь я не видела ее лица, но даже не сомневалась, что она улыбается.

Когда мы въехали в город, пошел дождь со снегом. Крупишки мокрого льда били в стекло. Я пыталась придумать, что сказать Грете, чтобы она поняла: Финн никогда не подвергнет меня опасности. Ведь Грета ничего о нем не знает. Не знает о том, как он дал мне понять, что портрет — это только предлог. Как увидел, какое у меня лицо, когда мы приехали позировать в первый раз. Как дождался, пока мама с Гретой не пройдут в гостиную, и в тот миг, когда мы остались с ним один на один в узеньком коридоре, положил руку мне на плечо, наклонился поближе и шепнул в самое ухо: «А как еще можно было устроить все эти воскресенья с тобой, Крокодил?»

Но я никогда бы не стала рассказывать об этом Грете. Когда мы уже выходили из микроавтобуса на сумрачной подземной стоянке, я быстро выпалила:

— Все равно кожа водонепроницаема.

Грета аккуратно закрыла дверцу, обошла микроавтобус и встала прямо передо мной. Пару секунд постояла, глядя на меня. На мое крупное, нескладное тело. Потом поправила лямки рюкзака на своих хрупких плечиках и покачала головой.

— Верь во что хочешь, — она развернулась и направилась к лестнице.

Но так не бывает, и Грета сама это знала. Можно сколько угодно пытаться поверить в то, во что хочется верить, но у тебя ничего не получится. Сердце и голова сами решают, во что верить, а во что не верить. Независимо от того, нравится это тебе или нет. И ничего тут не поделаешь.

Дядя Финн работал с портретом по несколько часов подряд, и все это время мама сидела на кухне и заваривала нам чай. В роскошном русском заварочном чайнике, раскрашенном в золотой, красный и синий цвета, с маленькими танцующими медведями, выгравированными по бокам. Финн говорил, что это особенный чайник — чтобы угощать чаем самых любимых людей. И когда мы приезжали, чайник с медведями неизменно нас ждал. Из гостиной нам было слышно, как мама наводит порядок в кухонных шкафах, достает миски и банки, тарелки и чашки, а потом ставит обратно. Время от времени она заходила в гостиную и приносила нам чай, который обычно остывал нетронутым, потому что Финн занимался портретом, а нам с Гретой нельзя было даже пошевелиться. Все эти воскресенья у дяди мама старательно избегала смотреть на Финна. Понятно, ей было очень невесело от того, что ее единственный брат умирает. Но иногда мне казалось, что дело не только в этом. На портрет она тоже старалась не смотреть. Быстро входила в гостиную, ставила чайник на стол и возвращалась в кухню. Мимо мольберта она проходила отвернувшись. Иногда мне казалось, что Финн тут вообще ни при чем. Иногда у меня было чувство, что мама вообще не хочет смотреть на холст, кисти и краски.

В тот день мы позировали Финну полтора часа. Он поставил диск с музыкой. «Реквием» Моцарта. Мы с Финном оба его любили. И хотя я не верю в бога, в прошлом году я уговорила маму, чтобы она разрешила мне петь в католическом церковном хоре. Просто чтобы на Пасху я могла бы исполнить «Кугие» Моцарта.

Честно сказать, я совсем не умею петь, но все дело в том, что, если закрыть глаза, когда поешь на латыни, и встать в самом заднем ряду, чтобы прикоснуться рукой к холодной каменной стене, легко можно вообразить, что ты в Средневековье. Я потому и записалась в хор. Только поэтому.

«Реквием» был нашим с Финном секретом. О нем знали только мы двое. Нам даже не нужно было смотреть друг на друга, когда он поставил диск. Мы оба все понимали. Однажды Финн водил меня на концерт, в красивую церковь на Восемьдесят четвертой улице. Он сказал, чтобы я закрыла глаза и слушала. Так я услышала «Реквием» в первый раз. И сразу влюбилась в эту музыку.

— Она подкрадывается к тебе тихо-тихо, — сказал тогда Финн. — Убаюкивает, усыпляет бдительность, представляется милой, приятной и безобидной, а потом вдруг — та-да-дам! — вздымается грозной волной. Барабанная дробь, и пронзительные крики струн, и глубокие темные голоса. А затем — так же непредсказуемо и внезапно — вновь становится тихой и нежной. Ты понимаешь? Понимаешь, Крокодил?

Это прозвище придумал мне Финн, потому что, как он говорил, я похожа на существо из какой-то другой эпохи, которое таится в засаде, наблюдает и ждет, прежде чем выносить какие-то суждения об окружающем мире. Мне это нравилось. Нравилось, когда Финн меня так называл. Мы с ним сидели в той церкви, и он пытался добиться, чтобы я действительно поняла эту музыку.

— Ты понимаешь? — спросил он снова.

Я понимала. Во всяком случае, думала, что понимаю. Или, может быть, только притворялась. Потому что меньше всего мне хотелось, чтобы Финн считал меня душой.

В тот день «Реквием» разливался в пространстве среди всех этих безумно красивых вещей в квартире у Финна. Мягкие турецкие ковры. Старый шелковый

цилиндр, повернутый к стене залоснившимся боком. Большая стеклянная банка, доверху полная медиторами всевозможных расцветок. Финн называл их «мои разносолы», потому что они хранились в банке для консервирования. Музыка разливалась по комнате, выплескивалась в коридор, плыла мимо двери в дядину спальню — как всегда, плотно закрытую, не доступную ни для кого. Мама с Гретой, кажется, не замечали, как губы Финна беззвучно выпевают слова — «voca me cum benedictus... gere curam mei fi nis...». Они даже не подозревали, что слушают заупокойное песнопение. И хорошо, что не подозревали. Если бы мама знала, что это за музыка, она бы сразу же ее выключила. Без разговоров.

Чуть погодя Финн повернул холст, чтобы мы с Гретой могли на него посмотреть. Это было *событие*: раньше Финн не показывал нам, как продвигается его работа. А теперь показал. В первый раз.

— Посмотрите внимательно, девочки, — сказал он. Финн никогда не разговаривал за работой, а когда наконец заговорил, голос его прозвучал слабо и хрипло. Он на секунду смутился, потом потянулся за чашкой с остывшим чаем, отпил глоток и прочистил горло. — Данни, ты тоже... иди посмотри.

Мама не отвечала, и Финн позвал ее снова:

— Поди сюда. На секундочку. Мне интересно узнать твое мнение.

— Попозже! — крикнула мама из кухни. — Я пока занята!

Финн продолжал смотреть в сторону кухни, словно надеясь, что мама все-таки передумает и придет. Когда стало ясно, что она не придет, он нахмурился и снова повернулся к холсту.

Он резко поднялся с кресла — с этого старого синего кресла, в котором всегда сидел перед мольбертом, — поморщился, пошатнулся, ухватился за подлокотник. Постоял пару секунд, потом сделал шаг в

сторону, и я увидела, что дядя Финн стал абсолютно бесцветный. Только галстук, повязанный вместо ремня, выделялся зеленым пятном, и весь дядин белый халат разбрызган пятнышками краски. Нашими с Гретой цветами. Мне захотелось вырвать у Финна кисть и раскрасить его, чтобы вернуть его прежнего. Чтобы он вновь стал собой.

— Ну, слава богу, — Грета подняла руки и взъерошила себе волосы.

Я разглядывала портрет. Я заметила, что на картине Финн расположил меня чуть ближе к зрителю, слегка выдвинул мою фигуру на передний план, хотя мы сидели не так. Заметила и улыбнулась.

— Он еще не закончен... да? — спросила я.

Финн подошел и встал рядом со мной. Наклонил голову, рассматривая нас нарисованных. Сначала Грету, потом — меня. Прищурился, глядя прямо в глаза той другой, нарисованной мне. Наклонился так близко к холсту, что едва не коснулся лицом влажных красок, и у меня по руке пробежали мурашки.

— Да, не закончен. — Финн покачал головой, не отводя взгляда с картины. — Видишь? Чего-то не хватает. Возможно, на заднем плане... или, может быть, стоит еще поработать над волосами. Как ты думаешь?

Я медленно выдохнула и расслабилась, не в силах сдерживать улыбку. Потом энергично кивнула:

— Мне тоже так кажется. Думаю, нам надо будет приехать еще пару раз.

Финн улыбнулся в ответ и провел бледной бесцветной рукой по бесцветному бледному лбу.

— Да. Еще пару раз, — подтвердил он.

Финн спросил, нравится ли нам портрет. Я сказала, что он прекрасен, а Грета вообще ничего не сказала. Она даже не смотрела на холст. Стояла спиной к нам, держа руки в карманах. Потом медленно обернулась. С абсолютно непроницаемым выражением лица. Грета это умеет. Умеет скрывать свои мысли и

чувства. Я не успела сообразить, что сейчас будет, и вот Грета уже вытащила из кармана омелу и вскинула руку. Широким жестом она стремительно провела веткой прямо над нашими головами, словно пыталась рассеять воздух, будто держала в руке что-то более грозное, чем обычную ветку рождественских листьев и ягод. Мы с Финном переглянулись, и у меня внутри все оборвалось. Буквально за долю секунды, пока мы смотрели друг другу в глаза — сколько нужно песчинке в песочных часах или капле воды в протекающем кране, чтобы сорваться и упасть? — Финн все понял. Мой дядя Финн прочел меня, как открытую книгу. Он увидел, что я боюсь, наклонил мою голову и чуть коснулся губами волос у меня на макушке. Так легко, словно бабочка присела на цветок.

По дороге домой я спросила у Греты, можно ли заразиться СПИДом через волосы. Она пожала плечами и отвернулась. И всю дорогу смотрела в окно.

Вечером я вымыла голову, трижды намылив волосы шампунем. Потом сразу легла, закуталась в одеяло и попыталась заснуть. Честно считала овечек, травинки и звезды, но ничего не помогало. Я все время думала о Финне. Как он целовал меня в макушку. Как на долю секунды, когда он склонился ко мне, все остальное исчезло: СПИД, Грета, мама. Остались только мы с Финном, и, прежде чем я успела себя удержать, у меня промелькнула мысль: а что было бы, если бы он поцеловал меня по-настоящему, в губы? Я понимаю, как это противно и мерзко, но мне хочется рассказать правду. И если по правде, в ту ночь я лежала в постели и представляла себе поцелуй Финна. Лежала и думала обо всем, что таилось у меня в сердце, о возможном и невозможном, правильном и неправильном, выразимым словами и совершенно невыразимом. А потом, когда все эти мысли рассеялись, осталась только одна: как плохо мне будет без дяди Финна.

2

Если хочется притвориться, что ты перенесся в другое время, лучше всего в одиночку пойти в лес. Обязательно — в одиночку. Если с тобой пойдет кто-то еще, ничего не получится. Чужое присутствие все равно будет напоминать, где ты на самом деле. Лес, куда хожу я, начинается за зданиями средней и старшей школы. Он начинается сразу за школьным двором, но тянется на много миль к северу, до Махопака, и Кармела, и еще дальше — я даже не знаю названий тех мест.

Заходя в лес, я первым делом вешаю на дерево свой рюкзак. А потом просто иду. Чтобы все получилось, нужно идти и идти до тех пор, пока шум города не затихнет вдали. Пока его не сменят другие звуки: треск ветвей и журчание ручья. Я иду вдоль ручья, который выводит меня к обвалившейся каменной стене. К высоченному клену с прибитым к стволу проржавевым ведром для сбора древесного сока. Это и есть мое место. Куда я всегда прихожу. В книге «Складка времени» говорится, что время похоже на старое скомканное одеяло. Мне бы очень хотелось забраться в одну из его складок. Укрыться в ней. Спрятаться в крошечном тесном пространстве.

Обычно я переносюсь в Средневековье. Как правило — в Англию. Иногда напеваю отрывки из «Реквиема», хотя знаю, что это не средневековая музыка. Я смотрю на все, что меня окружает — камни, опавшие листья, голые деревья, — так, словно могу это истолковать. Словно сейчас моя жизнь зависит от того, сумею ли я понять, о чем мне поведает лес.

Я всегда приношу с собой старое «деревенское» платье от «Ginne Sax», которое мне отдала Грета. Она носила это платье, когда ей было двенадцать. Конечно, оно мне мало и не застегивается на спине, так что приходится поддевать под него рубашку. Оно больше похоже на что-то из «Маленького домика в прери-

ях», чем на средневековый костюм, но ничего более подходящего у меня нет. Зато есть роскошные средневековые сапоги. Всякий скажет, что подобрать правильную обувь — это самое сложное. Долгое время мне приходилось довольствоваться обыкновенными черными кедами, и я упорно старалась не смотреть на них, потому что они портили всю картину.

Сапоги — черные, замшевые, со шнуровкой из кожи — были куплены на средневековом фестивале в музее «Клойстерс», куда мы ходили с Финном. Дело было в октябре. К тому времени Финн уже четыре месяца работал над нашим портретом. А на фестиваль мы пошли в третий раз. В первый раз меня пригласил Финн, а остальные два раза я напросилась сама. Как только листья на деревьях начинали желтеть, я принималась насаждать на Финна насчет фестиваля.

— Ты становишься заядлым медиевистом, — говорил он. — Что я с тобой сделал?

И был прав. Это его вина. Финн буквально «болел» средневековым искусством и пристрастил к нему и меня. Сколько себя помню, мы с ним постоянно рассматривали репродукции в его многочисленных альбомах и книгах на эту тему. К тому третьему фестивалю Финн уже начал стремительно худеть. На улице было прохладно, и Финн надел сразу два свитера, чтобы не мерзнуть. Мы пили горячий яблочный сидр — мы с ним вдвоем, только вдвоем посреди жирного духа свинины, жарившейся на вертеле, и лютневой музыки, и тихого ржания лошадей, которых готовили к выходу на потешный рыцарский турнир, и перезвона крошечных колокольчиков на лапах у соколов. Финн увидел сапоги на лотке у башмачника и купил их мне, потому что знал, что я буду от них в восторге. Он помогал мне их мерить, зашнуровывал и расшнуровывал пару за парой, как будто ему больше нечего было делать. Как будто нет на свете более увлекательного занятия. Если сапоги не подходили,